



КРЫША МИРА

Павел Георгиевич Рыков родился в Москве в 1945 году. Окончил Московский государственный институт культуры. С 1988 по 2012 год руководил Государственной телерадиокомпанией «Оренбург». Поэт, прозаик, драматург. Член Союза писателей России. Лауреат многих международных и российских премий в области радио и телевидения, премии им. В. Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2010), региональной литературной премии им. П. И. Рыкова (2012, 2017), премии Губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира» (2016), областной литературной премии имени С.Т. Аксакова (2016). Живёт в Оренбурге.

КАМУШКИ

Почему-то часто вспоминается день, когда впервые я оказался на берегу Урала. Наверное, потому, что впервые. Хотя память человеческая устроена затейливо: за что-то цепляется и не отпускает годами. А какие-то события, подробности: люди, звуки, краски, вкусовые ощущения — будто их и не было вовсе. Так вот, приехал на мотоцикле с родителями: папа за рулём, мама на заднем сиденье. А я — верхом на баке спереди. По теперешним временам дичайшее нарушение ПДД. А в те поры — без проблем. А ещё какие-то дядьки и тётеньки с нами были. Откуда взялись, как звали — не помню. Их как бы нет в памяти. Взрослые полезли в воду, папа и другие дяденьки плавали. Даже на другой берег махнули. Мама и другие тётеньки, повизгивая, зашли в воду, но неглубоко, сели и вместо плавания принялись разговаривать, как будто в другом месте нельзя поговорить. А я был

оставлен у самой кромки воды. Ноги в воде, и к ним тут же подплыли малюсенькие рыбки и начали носами тыркаться в пальцы. Я испугался. Мама засмеялась и сказала, что они не кусаются. Было жарко. Парило. Мне всё нравилось, кроме панамки на голове. Она мне сразу не глянулась, потому что девчачья. Но если с мамой можно было из-за неё покапризничать, то с папой такое не проходило. Я наблюдал за рыбками, потом углядел камушки в воде. Красные, двухцветные, как бутерброд с сыром на чёрном хлебе, бордовые, серые, чуть чёрные, совсем чёрные, полосатые, почти прозрачные, белые, с размытыми границами между цветами — всякие. Вода струилась, омывала камушки, они блестели и даже, как мне казалось, некоторые из них светились, вбирая солнечные лучи. Я дивился многоцветью и самые понравившиеся складывал кучкой на берегу. Папа плыл вразмах, сажёнками, против течения, бил руками трепещущую на солнце водную рябь. Конечно же, папа плавал лучше всех!

А у противоположного берега движение воды незаметно. В ней отражались высокий, обрывистый яр, неохватные вязы, оказавшиеся по-над самым обрывом, и береговые ласточки, вылетающие из бесчисленных пещерок, чтобы поймать на лету добычу и вновь стремительно юркнуть в своё, ими сотворённое убежище-гнездышко.

Мама спохватилась, заметив, что плечи и спина у меня порозовели от солнца. Намочив рубашку

в реке, надела на меня, несмотря на проявленное недовольство. Но что рубашка, когда горка отобранных мною чудесных самоцветных камушков делалась выше и выше, благо пляж и отмель состояли из неисчислимого количества мелких, обточенных течением, отполированных до округлости кусочков останцов Рифейских гор, меж которых многие тысячелетия подряд река прокладывала себе путь к древнему Хвальнскому морю. Камушков в моей сокровищнице становилось всё больше. Да вот беда: взятые мною из воды, они начали обсыхать. И куда стало деваться многоцветное роскошество! Словно кто-то, назло мне, покрывал самоцветное свечение краской пыльного цвета.

Внезапно за деревьями на той стороне реки начало погромыхивать.

— Гроза! Гроза! — всполошились женщины. Вышли из воды и отправились за кусты тальника переодеваться.

Папа тоже вышел на берег и начал подпрыгивать на одной ноге, норовя вытряхнуть воду из уха.

— Ты чего тут? — спросил он меня.

— Почему они, — я указал на мои камушки, — в воде такие разные и красивые, а на берегу одинаковые и серые?

— Так жизнь устроена, — ответил папа. — Всегда чего-нибудь да не хватает, чтобы всё было красиво.

Потом с меня сняли мокрые трусики и влажную рубашку,

переделали в сухое. Наконец-то снята и девчачья панамка. Жаль! Её наверняка бы сдуло во время езды... От мотоцикла пахло бензином. Машинный запах довлел над влажным запахом реки, накрывшим всё и вся грозовым воздухом, уже пронизываемым первыми каплями дождя и остро и резко усилившимся ароматом густых талов. Пора удирать. Папа опять усадил меня на бензобак, велел крепко держаться за руль. Мотоцикл фыркнул, и мы поехали. Один камушек, самый красивый, хоть и потерявший цвет, я уговорил маму перед тем положить в сумку. Дома вознамерился набрать воды в стеклянную банку из-под солёной каспийской хамсы, чтобы оживить моё сокровище. Но, как оказалось, камушками можно было любоваться только там, на берегу, у живой воды.

Мне кажется, память — как эти камушки. Вроде и вспоминать нечего, всё серо и однообразно. Но вдруг заблещут на солнце струи чистой проточной уральской воды, томяще запахнет прибрежными талами, затрепещут крыльшками, зависнув над камышами изумрудные стрекозы, застригут воздух береговые ласточки, добывая пропитание себе и птенчикам. Засияют вновь, обретая цвет, мои камушки. Они, конечно же, не запомнили, как некогда были частицами могучих, до неба вздымавшихся гор.

И вновь проявится всё многоцветье прожитой мною жизни...

СЛУКА

Ближе к вечеру ждали папу с трофеями. Ждали по-разному — я с восторгом от предстоящего счастья. Мне доверялось извлечь из люльки мотоцикла чехол с ружьём и внести в дом. А там с самого утра уже были приготовлены мною деревянные свинчивающийся помпол с насадками, металлический пузырёк с двумя крышками, где сберегалось ружейное масло и едучая жидкость для чистки стволов, а также чистые тряпицы. Предстояло по-настоящему мужское занятие: банить стволы от нагара. Порох, которым снаряжались патроны, был дымным, так что копоти хватало. Вы спросите: «А трофей?» Папа нажимал на рычажок, откидывалась крышка багажника мотоциклетной люльки с прикрученной к ней запаской, доставался сперва ягдташ с бахромой державок. Под ним — мешок сурового полотна. А в мешке то, что маме решительно не нравилось, — битые утки: чирки, крякаши, изредка казарки. Маме предстояло их оципывать и палить — занятие муторное донельзя, особенно воскресным вечером. Да к тому же руки мама берегла, даже маникюр не делала и ежедневно смазывала их душистым, сладковатым глицерином, поскольку в те поры никаких других умягчающих кремов в продаже не было. Смазывала, потому что с утра в роддоме, где работала, надо осматривать новорождённых младенчиков. Как шутил папа,

пупки им бантиком завязывать. Полагался глицерин и мне — по причине цыпок, без которых у мальчишки жизнь не в жизнь.

В этот раз водоплавающей дичи не было. Видно, не наступила пора. В мешке лежали маленькие тушки пестроцветных, долгоносых птичек.

— Слуку добыл, Василич? — сказал оказавшийся рядом сосед Игнатъч. — Да много как! Знать, хорошая тяга была.

— Как вы их назвали? — удивился папа. — Это же вальдшнеп.

— Слука. У нас в деревне старые старики так их и называли. Считалась барской птицей. Больше для забавы.

— Это почему?

— Мала. Мужуку с устатку — на один укус.

— А это я тебе, — сказал папа, откидывая полог люльки. В ней сидел маленький живой вальдшнеп. Завидев свет и нас, склонившихся над ним, он забеспокоился, попытался взмахнуть крыльями и взлететь — да не тут-то было; левое крыло у него было перебито и стелнилось, распущенное по днищу.

— Зачем ты его привёз, Юра? — спросила мама, подошедшая к мотоциклу.

— Подранок. Привёз ему показать, — папа указал на меня.

— Зачем ему на это смотреть? — мама спрашивала даже не таким голосом, когда говорила со мной, если я набедокурую, а совсем другим, какой я и не слышал прежде.

— Ничего-ничего. Пусть привыкает.

— А можно его в руки взять? — я даже про ружьё забыл.

— Возьми-возьми.

Я потянулся к подранку. А он уклонился от моих ладоней, и опять здоровое его крыло встрепенулось.

— Лови-лови! — подбодрил папа. — Хватай, не бойся.

— Но ему же больно...

— Наверно.

Я схватил птицу и почувствовал, как колотится его сердечко: «Тук-тук-тук-тук-тук» — часто-часто. И у меня сердце припустилось вскачь. Впервые у меня в руках живое существо, и оно смотрело на меня в упор чёрными бусинами глаз. Каким я виделся ему? Огромным? Страшным? Неодолимым? Ещё совсем недавно слука летел, ловко лавируя меж дубков, покрытых листвой, щедро тронутой осенней ржавчинкой. В моих руках он стал тих и покорен и уже не пытался вырваться и взлететь, поняв свою беспомощность.

— Он будет теперь у нас жить? — спросил я.

— Как ты себе это представляешь? — папа продолжал извлекать из люльки снаряжение и тёплую одежду.

— Папа! У нас есть утки подсадные!

Действительно, в сарае жили пять диких уток с подрезанными маховыми перьями. С ними ездили на весеннюю охоту. Их выпускали на воду, привязывая за лапу к жерди, воткнутой в дно. Утки крякали, завидев налетающих

женихов-селезней. Тут-то и поджидала их дробь-четвёрка.

— Это утки. А это — вальдшнеп.

— Значит, ты его убьёшь? Он же раненый! Мама! Вы же на фронте лечили раненых! Даже немцев... Мама, скажи!

Слука смотрел на меня своими чёрными бусинками и, наверное, что-то бы сказал, но он мог говорить только на своём вальдшнеповом языке. Эти птицы, вообще-то говоря, только по весне и разговаривают — хоркают. И то одни самцы.

Душу мою пронзила жалость! Как же так? Ему повезло. Он выжил. А теперь его, раненого, будут добивать. Я буду жить. Мама и папа тоже будут жить. Все будут жить, даже подсадные ненасытные утки будут продолжать выискивать своими широкими носами что-то съедобное в корытце. А слуку сейчас убьют. Ведь убьют же! И я заплакал.

Вообще-то говоря, смерть не была чем-то необыкновенным в нашем многонаселённом дворе. В те непростые годы практически все обитатели держали в сараях кур. Случалось, курица переставала нестись или молодой петушок входил в силу. Тогда старому была одна дорога — на лапшу. Хотя среди живущих в доме было много мужчин, никто из них не хотел заниматься казнью горластого верховода. А ведь все эти дяденьки были фронтовиками и, скорее всего, немало фашистской крови пролили, если судить по их медалям и орденам, которые они цепляли по праздникам.

Один только тыловик дядя Гоша охотно брался за дело. Низкорослый, с кривоватыми ногами, редкими белёсыми волосиками, кое-как натыканными над всегда влажной от постоянного облизывания верхней губой. Был он человеком казённым — ВОХРой на зоне. Хозяйка указывала на очередную жертву. Гоша смело шёл на петуха. И, как ни странно, гордец и забияка, обычно шугливый, смиренно давался ему в руки. Какая-то в этом таилась загадка. Поговаривали, что он некое Слово знал. У него для куриных казней был специальный, отдельный топорик. Голову птице он отсекал с первого маха и отпускал на волю петуха, лишённого красной бороды и гребня, и тот бежал по двору, а кровь билась из перерубленного горла. Гоша поднимал руки, как бы прицеливаясь из карабина в бегущего, и произносил: «Шпок». Обезглавленный петух падал. А Гоша бахвалился: «От меня ещё никто не убежал».

Никаких сожалений петушья смерть не вызывала — дело житейское. Да и дичь для меня была просто дичью. А приготовленная мамой — вкуснятины невероятной; тёмное, душистое мясо, да с картофельным пюре — хороший приварок к нашему огню не обильному семейному столу. Но то была добыча, взятая с боя. А здесь — маленькое тельце, крыло, перебитое бекасинником, и сознание непоправимости произошедшего. И не уверяйте, что звери и птицы не думают и не предвидят беды, их ожидающей. Иначе бы

они сами, по доброй воле, давались в руки ловцам.

Не помню, кто забрал подранка из моих рук. Глаза из-за слёз ничего не видели. Мама отвела меня в дом, я рухнул на постель, продолжая рыдать. Так, рыдая, и впал в сонное беспмятство. А ружьё в тот раз не чистил. И дичь есть не стал.

ОТЧЕГО ТАК РАНО ВЯНУТ РОЗЫ

Всё было для меня внове. Прежде всего, папа взял меня, как большого, на охоту, да к тому же на машине. Эта трофейная «немочка» досталась ему в аховом состоянии, он самолично и самозабвенно перебрал её по винтику, и теперь мы ехали почти с комфортом. Я и охотничий пёс Маркиз — сзади. За рулём папа, рядом друг его Кегля — стрелок от бога. Ехали, ехали и доехали до мочажины. Проскрежетала переключаемая коробка передач, папа вдавил педаль газа, машина рванулась под уклон и...

— Ха-ха, — засмеялся Кегля.
— Никогда немцам России не одолеть, Скажи, Василич!

Мы вышли из машины, а Маркиз, как лежал, свернувшись калачиком, так и лежал. Попытки выехать задним ходом с помощью нашего толкания только усугубили ситуацию. Стало ясно: надо искать тягло. Кегля остался с Маркизом караулить машину и оружие. А я уязвился с папой.

Пока ехали, всё казалось близким. А пешком долгонько,

тем более, на один папин шаг приходилось три моих. Но вот показался взгорок, с которого как бы сползали к озерцу, подпираемому плотиной, двенадцать — я уже умел считать до двадцати — саманных мазанок с плоскими крышами.

— Пап! Как деревня называется?

— Никак. Это не деревня, это выселки.

— А что такое выселки?

— Тебе не понять. Подрастёшь — узнаешь.

— А та большая, что мы проехали мимо?

— Колхоз имени Чапаева.

— Чапаев здесь жил?!

— Нет!

— Значит, воевал! — заявил я и запел: «Гулял по Уралу Чапаев-герой! Он соколом рвался с врагами на бой!»

Голова моя была нафарширована песнями из радиорепродуктора.

Мы подошли к крайней мазанке. Во дворе дымила летняя саманная печурка. Возле, на чурбаке, сидел дедок в телогрейке и фуражке с донельзя выцветшим синим околышем.

— Здравствуйте, дедушка, — сказал папа.

— Ась?

— Здравствуйте, говорю. А бригадира где нам найти?

— А вы кто будете? Никак городские?

— Машина у нас застряла.

— Маашина! Из начальства, стало быть. Эвон! А табачку не одолжите?

Папа достал портсигар. Дедок корявыми пальцами выудил

папиросу, закурил, выпустив из носа две толстые и пушистые, как кошачьи хвосты, струи дыма: «А бригадир наш тамочки — на дойке. Учёт ведёт». И дедок рукою указал в направлении пруда, куда тянулся горящим кизяком пахнущий дым из трубы саманной печечки.

У самой кромки воды стояло приземистое строение, сложенное из белого плитняка с просевшей крышей. Папа потянул воротину, и мы вошли. Внутри было темно. Под потолком горело несколько ламп «летучая мышь», от которых толку чуть, особенно для нас, вошедших со света. Я сразу же увидел впервые прямо перед собой коровью морду. Корова жевала и смотрела на меня совсем по-человечески. Я хотел дотронуться до её мокрого носа, но убоился — а вдруг укусит. Где-то в темноте слаженно и тихо пели женщины, а в проходе четверо мальчишек немногим старше меня, шаркая галошами, в которые были обуты, движками-лопатами сгоняли навозную жижу в сторону противоположных ворот коровника. Из темноты, прихрамывая, появился человек в ватнике, надетом поверх гимнастёрки, и в резиновых сапогах.

— Кто позволил войти? — спросил он громко и властно.

— Нам бригадир нужен, — сказал папа.

— Я бригадир. А сюда посторонним нельзя. Ветеринар запрещает.

Мы вышли на свет.

— Не поможете с трактором? — спросил папа. — Завязли мы на

машине. Километра полтора отсюда, — и он указал направление.

— Лейтенант! — воскликнул бригадир. — Вот так встреча! Не узнаёшь?

— Не припомню.

— Да как же! В мае, под Эльбингом. Уже и война кончилась, а какие-то шальные фрицы саданули из миномёта, и ноги мне обе перебили, и руку покорёжили. А ты меня в госпитале рентгеном фотографировал. А потом проявил и зашёл сказать, что всё обошлось, только осколки надо извлекать. Не помнишь?

— Нет.

— И немудрено. Сколько нашего брата битого. А мы, оказывается, земляки! Расскажи — не поверят!

— А что это у вас в коровнике поют?

— Им так сподручнее. Да и коровы лучше отдаиваются под песни. А ещё у нас самодеятельность. На ноябрьские концерт давать будем, — он подал отцу левую руку, а правая висела у него, как безжизненная. — Заново знакомиться будем. Николай Егорыч меня зовут.

— А ребята там... — с содроганием спросил я, вспоминая злобное навозной жижи, щиплющее глаза.

— Мамкам подсобляют трудодни зарабатывать. А ты, герой, по медицинской части пойдёшь, как папка? Дело чистое, хорошее, — и, не дожидаясь ответа, закричал: — Степан Сильч, заводи! Доктора выручать надо!

«Дрых-тых-тых-тых», — затахтел движок. Из-за коровника

выкатился тракторок с шипами на железных колёсах и с подскакивающей в такт движку крышкой на выхлопной трубе.

Вскоре мы уже катили по просёлку в объезд мочажины.

— Понял, откуда белое молоко берётся? — спросил меня Кегля.

— Никогда теперь не буду пить.

— Чего так?

— Там навоз.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Кегля. — На то она и деревня! В деревне без навоза не проживёшь.

— Ну её, эту деревню! Грязь сплошная! — выпалил я, вспоминая корявые и явно немые пальцы дедка, которыми он выковыривал белую папиросу из папиного портсигара. — В деревне только дуракам и жить.

Раз! Папа дал по тормозам: «Выходи». Я выбрался из машины.

— Вставай на колени! — приказал он мне голосом, не предвещающим ничего доброго. — Вставай-вставай и проси прощения.

— У кого, за что? — захныкал я.

— У деревни-матушки, у земли, у крестьян. Ты думаешь, войну генералы да политруки выиграли? Деревня русская победила. Крестьяне. Вот кто главные победители. Такие, как Николай Егорович. Они тебя, сопляка городского, поят-кормят, говны от тебя отгребают, да ещё и на песни у них силы остаются. Услышу ещё раз худое про деревню...

Много лет прошло. Узнал я и что значит слово «выселки», и что мог поведать синий выплывший

околыш на дедовой казачьей фуражке. Вспомнил и песню, что пели доярки во тьме коровника. А пели они старинный казачий романс:

*«Отчего так быстро вянут
розы?»*

Опадает с них вся красота.

А любви чарующие грёзы

Пропадают раз и навсегда.

Так пусть все говорят,

что это ложь,

Пусть меня обман бросает

в дрожь!

Не хочу я в этом сомневаться,

Я хочу любить и наслаждаться...»

Ах, как они пели, эти казачки с выселков!

КРЫША МИРА

И вот настал неизбежный день. Мы поняли, что выросли из игры в кулюкушки. Играть-то можно, да не спрячешься — все потайные места во дворе известны, а в некоторые мы уже не умещались. Играть в войну? С самодельными автоматами? Ну, уж нет! К тому же все отказывались быть немцами. А если нет немцев, с кем воевать? Можно, конечно, в казаков-разбойников. Но это тоже будто в войну. И даже футбол не радовал. Двор в это лето как-то скукожился. Утром Витёк сказал, что нашёл одно место, просто зашибись, но туда надо пробираться осторожно. И девчонок не брать. Они воображалы, трусихи и болтушки. Всё разболтают, и тогда нам шандец.

Что такое шандец, мы не поняли — Витёк нахватался разных словечек от прибранных друганчиков с соседнего двора. Но ясно, что мало не покажется, если взрослые узнают про задуманное. И мы пошли. Мы — это Витёк, он постарше и за главного. Следом я, третьим шёл Генка по прозвищу Гендос-Паровоз — батя у него паровозный машинист. Поднялись на третий этаж и по длинному коридору двинулись в самый его конец мимо ряда дверей. Когда-то, до революции, здесь были «номера». В них проживали и погуливали разные заезжие купцы. Теперь жили в бывших номерах незамысловатые советские люди. Идти следовало тихо, не разговаривая, мимо ряда филёнчатых дверей, мимо столиков у каждой двери, сужающих коридор. На столиках примусы шумно исходили синими венчиками пламени под кастрюлями. В них, благоухая, упаривались щи. У других дверей тихо шипели керосинки, облизывая горячими языками огня от горящих фитилей сковородки с жарящейся картошкой. В конце коридора — неприметная, почти потайная дверь, придерживаемая загнутым гвоздём. Витёк оглянулся — не вышел ли кто в коридор — повернул гвоздь; дверь, тихонько всхлипнув петлями, открылась. Впереди деревянные ступени, ведущие в темноту. Это был ход на чердак. Темногица попервоначалу страшила. Но сказать об этом вслух? Фигушки! Назад хода не было. Только вперёд! Пол чердака засыпан чем-то мелким, иногда

похрустывающим под ногами. Мы перебирались через какие-то невысокие кирпичные короба, упирившиеся в кирпичные же столбы, пронзающие железную кровлю. «Борова это дымоходные и трубы», — пояснил Витёк. Похоже, он не впервые оказывался здесь. Дальше светилось слуховое окно на крышу, всё в пятнах голубиного помёта. Витёк пролез в него первым, спугнув голубей, сидевших на краю крыши. Следом — Гендос. Я видел, что нос у него от испуга как-то заострился. Я выглянул в окно — вот он, край крыши. А в самой глубине — двор. И маааленькая Капитоновна, на самом деле высокая и толстая, развешивает стираное бельё на верёвке. Даже сейчас, вспоминая, испытываю пронизавший меня тогда страх: высоты я боялся панически.

— Ну, где ты там? — спросил Витёк.

— Я раздумал. Пойду домой. А то бабушка хватится.

— Иди-иди! — сказал Витёк. — Мы всему двору расскажем, как ты полные штаны напустил, бабушкин внучок.

Всему двору — это пострашнее близкого края и высоты. Я полез. Витёк великодушно подал руку — и вот она, крыша, крашенная суриком. Я сел и ощутил, что жёсть кровли тёплая и даже горячеватая. А Витёк демонстрировал свою фартовость. Он прогулялся по самому краю, практически у жёлоба водостока, ведущего к водосточной трубе. Конечно, для взрослых парней из соседнего

двора, что под гитару вечерами пели тюремные песни и покуривали анашу, он был правильным пацанчиком из хорошей семьи. Нас же с Гендосом он, как старший, выстраивал по полной. Я-то, положим, знал, что Витёк — сын родителей-воров, сидящих в тюрьме, да и Гендос знал, как и все во дворе. Но это придавало Витьку какую-то отчаянность. И даже некоторое смутное очарование.

А вид с крыши открывался обалденный! Весь наш мир как на ладони. Перебивая друг друга, мы галдели об увиденном:

— Вот он, ажурный железно-дорожный мост через Урал.

— Смотри: паровоз товарняк тянет, сорок пять вагонов.

А за рекой — густая зелень Протопоповской рощи. И кругом улицы, переулки, вновь улицы, забывшие свои исконные названия и поменявшие их на имена разных чичериных, кировых и прочих. А там, вот там, баня гарнизонная с трубой, а за баней тюрьма.

Ух ты! Мы почти вровень со старым минаретом!

А дальше — новый дом меж старыми домишками. И серая громада Дома Советов с ярко-красной крышей.

— Там раньше собор был. Большуций. Но его взорвали, — пояснил Витёк. — Золота в нём у попов было видимо-невидимо...

— Да, — подтвердил Гендос. — Бабка моя ходила смотреть, а потом плакала. И сейчас, как вспом-

нит, плачет. Она у нас отсталая. В бога верит.

А дальше вонзался в небо се-ребрящийся минарет Караван-Сарая. И вокзал тоже разглядели, и ещё много всякого-разного, где ещё не бывали.

Устав глазеть, мы легли на крышу и оказались один на один с небом. Сначала болтали о разном. Потом Витёк велел рассказать что-нибудь. Голова моя нафарширована была историями из прочитанных книг, до которых я великий охотник. И потому стал признанным сказителем, пересказывая прочитанное дворовой ребятне. Иногда даже взрослые тётеньки подходили послушать. Обретя авторитет, начал влетать собственные выдумки в сюжеты классиков. И я начал пересказывать новопрочитанный роман Жюль Верна «Из пушки на луну». Через некоторое время Витёк прервал меня: «Внизу всем доскажешь». Тогда мы стали рассуждать, полетят ли люди взаправду на Луну и к звёздам.

— Неа, — уверенно произнёс Гендос. — Далеко. Когда папка меня в рейс до Владивостока взял, сколько тендеров угля мы сожгли — жуткое дело!

Гендос-Паровоз привирал насчёт рейса во Владивосток. Отец его работал машинистом на паровозике «Пых-пых», что толкал грузовые вагоны с маневровой горки на станции.

— Да и чего там делать, на этой Луне. Там пусто: ни городов, ни

деревень, ни путей сообщения.

— Не скажи, — возразил Витёк. — Очень даже есть, что делать. Там на Луне полно золота. Шаг шагни — и золото. Либо песок, либо самородки. Собирать-то его пока некому. Вот оно и лежит спокойно, ждёт, когда мы за ним прилетим.

— С чего ты взял, что Луна золотая? — засомневался Гендос.

— А ты вспомни, какого она цвета, особенно когда полнолуние. Лететь обязательно надо. Много золота — великое дело. Всем можно будет, например, золотые фиксы вставить, у кого зубы плохие. А ты, писатель, что думаешь? — обратился Витёк уже ко мне. — Полетим на Луну?

Лично мне Луна была не столь интересна. Однажды отец взял меня на осеннюю охоту. Пока он с друзьями додавливал под неспешный разговор у костерка заветную фляжку, я вскарабкался на стожок сена. Лёг на спину, и предо мной открылось небо, усеянное блистающими звёздами. Я уже знал Ковш Большой и Малый. А на хвосте Малого сияла Полярная Звезда. А ещё неисчислимое количество звёзд разной величины, имена которых я не ведал. Я вглядывался в звёзды, и мне казалось, что я вот-вот вознесусь и достигну их непременно. С тем и заснул, опьянённый запахом высушенного и шуршащего подо мной разнотравья.

— Когда-нибудь долетим, — ответил я Витьку. — Только очень

нескоро. Жизни может не хватить.

— Хочешь сказать, не доживём? — взъерепенился Витёк.

Внизу во дворе кудахтали куры. «Цыпа-цыпа-цыпа», — созывала кур на кормление тётя Валя, мать Генки, вернувшаяся с базара. Вжикал нож о вращающийся наждачный круг точильщика, что расхаживал по дворам, предлагая свою услугу. «А кому стеклоooo встаавлять?» — громко речитативил стекольщик с деревянным ящиком, прикреплённым к велосипеду с одной педалью. В нём сберегались оконные стёкла разных размеров. Дядя Ваня въехал во двор и заглушил свой выдавший виды фыркающий ЗИС-5. «Павлик!» — услышал я призыв бабушки, хватившейся меня.

— Может, и доживём.

И мы замолчали, глядя в небо. Высоко-высоко над нами бездонную голубизну распарывал серебристый самолётик, оставлявший после себя распадающийся белый пушистый шов. А за ним очередной пилот расчерчивал свою траекторию полёта. Это курсанты нашей лётки осваивали лётное мастерство на реактивных МиГах. Кто дерзнул бы тогда предположить, что один из самолётиков скоро будет пилотировать парнишечка по имени Юрий Гагарин? И он первым преодолет земное притяжение, взлетев гораздо выше нашей крыши и даже дальней горы Джомолунгма, которую называют Крышей Мира.